

**«Вопросы страшные о бытии времен»:  
апокалипсис Константина Случевского**

В статье исследуется апокалиптическая тематика поэзии Серебряного века как ответ на кризисные искания эпохи. Серебряный век усвоил имморализм Ницше, поверил в слепую волю Шопенгауэра, перекроил на свой лад учение Канта и воспринял идеи немецкого романтизма. Но ответ Серебряного века на духовный кризис эпохи оказывается исключительно русским явлением, не имеющим аналогов в мировой культуре. Результатом философских исканий стала идея божественной самости человека и рассуждения о темной сути христианского божества.

Апокалиптическая тематика отразилась в поэзии Серебряного века в творчестве Ф. Сологуба, К. Бальмонта, А. Блока, Н. Гумилева, но особенно остро эта тема прозвучала в поэзии К. К. Случевского, «поэта противоречий», создавшего самую оригинальную и самую страшную картину Апокалипсиса. Ей свойственны всепоглощающий парадоксализм, прямое толкование библейского текста, альтернативные космогонии, глобальная переоценка базовых ценностей.

Ключевые слова: Серебряный век, апокалиптическая тематика, поэтическая эсхатология, альтернативная космогония, Константин Случевский.

*Sergey Slobodnyuk*

**"Scary Questions about the Existence of Times":  
the Apocalypse of Konstantin Sluchevsky**

The article examines the apocalyptic themes of the Silver Age poetry as a response to the crisis researches of the era. The Silver Age assimilated Nietzsche's immoralism, believed in Schopenhauer's blind will, reshaped Kant's teaching in its own way, and adopted the ideas of German romanticism. But the response of the Silver Age to the spiritual crisis of the era turns out to be an exclusively Russian phenomenon that has no analogues in world culture. Philosophical researches resulted in the idea of the divine nature of man and the discussions about the dark essence of the Christian deity.

Apocalyptic themes were reflected in the poetry of the Silver Age in the works of F. Sologub, K. Balmont, A. Blok, N. Gumilyov, but this theme was especially acute in the poetry of K. K. Sluchevsky, the "poet of contradictions," who created the most original and scary picture of

the Apocalypse. It is characterized by an all-consuming paradoxism, direct interpretation of the biblical text, alternative cosmogonies, and a global re-evaluation of basic values.

Key words: Silver Age, apocalyptic themes, poetic eschatology, alternative cosmogony, Konstantin Sluchevsky.

Отечественную словесность трудно обвинить в оригинальности. Византийская книжность и барокко, французский классицизм и английский романтизм, поэзия «проклятых» и новая драма Ибсена... Круг первоисточников можно продолжать до бесконечности. И только Серебряный век несмотря на очевидную зависимость от кризисных исканий эпохи оказывается исключительно русским явлением, не имеющим аналогов в мировой культуре.

Странное, болезненное детище русских мыслителей и поэтов с первых дней своего существования смущало умы читателей идеями божественной самости человека и рассуждениями о темной сути христианского божества. Во вселенных Гумилева дьявол предшествовал богу, а Люцифер был обладателем подлинного знания.

В опрокинутых мирах Бальмонта зло становилось необходимым условием существования добра, и «Чудовище с клеймом: “Всегда-Одно-И-То Же”» [1, с. 330] вселяло уныние в сердца познающих.

Сологуб учил, что дьявол и только дьявол есть истинно милосердный Отец рода человеческого, а дебелая похотливая Ева, сумевшая изгнать из рая волшебницу Лилит, — главный враг Адама [9, с. 278–279; 327–328].

И, многократно отвергая учение Христово, взамен девяти заповедей о блаженствах Александр Блок провозглашал одну-единственную, согласно которой «путь открыт наверно к раю / Всем, кто идет путями зла» [2, II, с. 146].

Истоки подобных настроений известны и подробно описаны в многочисленных научных трудах. И вряд ли можно оспаривать мысль о том, что Серебряный век усвоил имморализм Ницше, возлюбил Софию Владимира Соловьева, поверил в слепую волю Шопенгауэра, перекроил на свой лад учение Канта и творчески редуцировал немецкий романтизм.

С другой стороны, сверхчеловеческий имморализм Ницше не предполагал демиургических притязаний: «Я хочу совсем открыть вам свое сердце, друзья мои: *если бы* существовали боги, как удержался бы я, чтобы не быть богом! Следовательно, нет богов», – так говорил Заратустра [7, с. 61].

Построениями Соловьева и немецким романтизмом в итоге прельстился один лишь Блок, который укрепляя свой дух романтическим жизнеотрицанием, воспевал темную ипостась Вечной Женственности: «У забытых могил пробивалась трава, / Мы забыли вчера... И забыли слова... / И настала кругом тишина... // Этой смертью отшедших, сгоревших дотла, / Разве Ты не жива? Разве Ты не светла? / Разве сердце Твое — не весна?» [2, I, с. 152].

А слепая воля западного Будды вступила в союз с темным и мстящим Адонаи Федора Сологуба, соединившего категорический императив Канта с собственным учением о проклятии вечной жизни, даруемой человеку безжалостным божеством: «В страданиях усладу / Нашел я кое-как, / И мил больному взгляду / Стал замогильный мрак, // И, кончив путь далекий, / Я начал умирать, — / И слышу суд жестокий: / “Восстань, живи опять!”» [9, с. 157].

Но стоит, ненадолго отвлекшись от конкретики, оценить материал в концептуальном плане, противоречия сразу исчезают. И вместо колонны ярких индивидуальностей перед нами оказывается своеобразное братство пророков, каждый из которых по-своему прозревает грядущий финал бытия.

Одни цепенеют от ужаса, другие мужественно стремятся к последней черте, третьи отстраненно описывают приближение мига, когда, как пророчит Исая, «истлеет все небесное воинство: и небеса свернутся, как свиток книжный» (Ис., 34:4), и поклянется ангел Иоанна Богослова именем «Живущего во веки веков», «что времени уже не будет» (Откр., 10:-6).

Словно соревнуясь друг с другом, создатели Серебряного века предлагали разные версии развития событий. Но честь создания самого оригинального и самого страшного Апокалипсиса принадлежит автору, имя которого нечасто встречается в филологических штудиях...

Константин Константинович Случевский. Отставной офицер, чиновник различных министерств, главный редактор «Правительственного вестника», тайный советник, пожалованный званием гофмейстера и... «поэт противоречий», по сути, заложивший основы Серебряного века. Всепоглощающий парадоксализм, прямое толкование библейского текста, альтернативные космогонии, глобальная переоценка базовых ценностей: это все Случевский.

Это у него евангельские нищие духом объявляются обычными идиотами. Это его Мефистофель, созидавая мир «у всех на глазах из своей головы», объявляет: «Я не лгу лишь тогда, когда истинно лгу» [8, с. 145]. А затем, сидя под *терновником*, убаюкивает найденыша колыбельной на мотивы десятисловия Моисеева и Нагорной проповеди: «Ты расти и добр, и честен; / Мать отыщешь —

уважай; / Будь терпением известен, / Не воруй, не убивай! // Бога, самого большого, / Одного в душе имей; / Не желай жены другого; / День субботний чти, говей... // Ты евангельское слово / Так, как должно, исполняй, / Как себя люби другого; / Бьют – так щёку подставляй! // Пусть блистает добродетель / Несгорающим огнём... / Amen! Amen! Бог свидетель, / Люб ты будешь мне по нём! <...> Для меня добро бесценно! / Нет добра, так нет борьбы. / Нужны мне, и несомненно, / Добродетелей горбы...» [8, с. 145–146].

Это Сатана Случевского в своей космогонии переворачивает традиционные представления об отношениях добра и зла: «И, Бог, и я — мы два враждебных брата, / Предвечные Эоны высшей силы, / Нам неизвестной, детища ее!..» [7, с. 569]. Это он, почти по Энгельсу, объясняет необъяснимое законами диалектики: «Я злобой добр... / А в этом двойственность... И ад, и небо / Идут неудержимо к разрушенью... / Лежит зерно: ему судьба расти! / Из оболочки и из содержанья, / Как бы из двух всегда враждебных сил. / Просунется росток! Не то же ль тут? / Зерно — мы оба! Только в раздвоенье / И в искренней вражде различий наших / Играют жизнь и смерть! Живые дрожжи!.. / Но эта рознь в уступках обоюдных / Утрачивает смысл давным-давно!» [8, с. 569–570].

Это у Случевского Князь Печали повествует об *иных* днях творения и об *истинном* предназначении человека: «Как это было? Да... припоминаю... / Не совершились времена тогда... / Природа мертвая была готова, / Но мысли и сознания лишена. / Мысль оставалась ценным достоянием / Духовных сфер, и в них витали мы! / Когда же после множества исканий / И опытов и, так сказать, на ощупь / Мысль в человеке, наконец, пробилась, / В ней связка завязалась двух миров, / В них жилы общие какие-то сказались, / Помчалась мысль, как кровь по организму, / Переливаясь между тех миров, / И был начертан дальний путь развития: / Чрез мысль – в бессмертье, и тогда-то нам / И мне, и Богу – человек стал нужен: / Он за кого – тот победит из нас» [8, с. 570].

Эсхатологические воззрения Случевского тоже далеки от традиционных. Его Сатана оказывается полноправным участником обвинения на Страшном Суде, а Мефистофель не только создателем, но и уничтожителем бытия: «Будет день, я своею улыбкой сожгу / Всех систем пузыри, всех миров пустельгу, / Всё, чему так приятно живется...» [8, с. 145]. Но вершиной эсхатологии «поэта противоречий», безусловно, является стихотворение «Подражание Апокалипсису».

В принципе, апокалиптическая тематика давно и прочно утвердилась в отечественной словесности. Иоанново Откровение перекладывали на поэтический язык Жуковский, Апухтин, Фет; позднее – Мережковский, Бунин и другие... Однако Случевский, как всегда, избирает собственный путь...

Текст Иоанна Богослова являет собой полномасштабную хронику грядущих событий... – В «Подражании...» Случевского представлено лишь несколько последовательных видений...

Иоанн сообщает, что «был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; <...> Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом» (Откр., 1:10, 12–13). – У Случевского читаем: «И наступила ночь тяжелая, глухая... / Виденье было мне! Меня порыв увлек / За кряж каких-то гор... Куда – и сам не зная, / Входил я в некий призрачный чертог. / Чертог был гульбищем каких-то сил бесплотных, / Незримых смертному, – молчание хранил... / Над тьмой безвременья, на привесах бессчетных / Блестало множество больших паникадил» [8, с. 98].

Иоанн завершает Откровение описанием Иерусалима, «который нисходил с неба от Бога» (Откр., 21:10), и словами Спасителя: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодееи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. <...> Жаждающий пусть приходит, и жаждущий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы <...>; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде <...>. Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!» (Откр., 22:13–20). Но грозные речения Христа обращены *исключительно* к чародеям, любодеям и прочим. А для *верных* будущее прекрасно!.. – В отличие от первоисточника, в финале «Подражания...» Случевского раздается некий Великий Голос, который «в сердцах» недвусмысленно предрекает судьбу *всего* человечества: «И Он других создаст, а прежних уничтожит» [8, с. 99].

Откровенное и последовательное отклонение автора от новозаветного текста вряд ли можно объяснить желанием выделиться и получить хорошие

рецензии в толстых журналах. Цель Случевского иная – под видом подражанию Иоаннову Откровению представить понимающему читателю новую эсхатологическую систему. В противном случае, зачем начинать *свой* Апокалипсис с того момента, когда у Иоанна Богослова все *закончилось*, и впереди показался «святой город Иерусалим»?

Как мы помним, вместо Иерусалима поэт приводит своего героя в «некий призрачный чертог», где «над тьмой безвременья, на привесах бессчетных / Блистало множество больших паникадил». Устройство этих светильников достойно пристального внимания: «Как бы пророчество какое выполняя, / Огни бестрепетно пылали, зажжены / От света Патмоса, от пламени Синая, / Рукой таинственной в чертог принесены!..» [8, с. 98].

Божественное происхождение пламени, казалось бы, однозначно указывает на христианскую природу Апокалипсиса Случевского. Но далее идут строки, которые говорят совсем о другом: «Непостижимо как, но те огни слагались / Как бы в какие-то живые письма... / Весь мир погиб... Они одни остались, / И на кадилах были имена!.. / А глубоко внизу, обломки на обломках, / Над миром рухнувшим торчали остря, / И между них, блестя огнем чешуй в потемках, / Лежала мертвою библейская змея! / А подле голубь белый без движенья / Упал пластом, безжалостно измят, / И на груди его как бы изображенья / Семи великих ран виднелися подряд...» [8, с. 98].

Переведем видение на категориальный язык... Итак, пространства, по существу, нет; времени нет, зло погибло, добро погибло, и остались только *имена*, живущие в огнях, которые ведут происхождение «от света Патмоса» и «от пламени Синая». Мощь этого пламени столь велика, что даже ангел смерти перед ним бессилён: «И он был тоже мертв! лицо мне видно было; / Не мог я не признать в нем чудной красоты, / Хоть силою огня местами опалило / И покоробило поблекшие черты!» [8, с. 99].

Но вернемся к именам. Вернее – к рядам «имен, враждебных по всему»... В полном соответствии с жанром Случевский не дает прямого разъяснения того, о *каких* именах идет речь. Дальнейшее вопрошание еще больше запутывает ситуацию: «Что общего у них, давным-давно прошедших / Пророков и шутов, тех иль других вождей, / Людей проклятия, великих сумасшедших / И неизвестных мне по именам людей?» [8, с. 98–99]. Впрочем, если вдуматься, ответ (пусть и неполный) находится достаточно легко. Пророкам и шутам позволялось говорить правду власть предержащим. Людей проклятия возможно соотнести с потомками Каина и детьми Марфы, миссия которых была тяжела,

но без них не было бы ни ремесел, ни технического прогресса. Что касается великих сумасшедших, то здесь все сложнее. Сумасшествие в Священном Писании упоминается редко и всегда имеет отрицательное наполнение. «Безумие» и его производные встречаются значительно чаще, но в большинстве случаев все коннотации безусловно негативны. «И в пророках Самарии Я видел безумие; они пророчествовали именем Ваала» (Иер., 23:13), – восклицает Иеремия. «Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“» (Пс., 13:1; 52:2), – пишет Псалмопевец. Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам подчеркивает: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» (1 Кор., 3:18–19).

Упоминания «безумия» в нейтральном либо положительном смысле единичны: «Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор., 1:22–23); «мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии» (1 Кор., 4:10). Как видим, библейский текст не дает ключа к шифру Случевского. И это вполне объяснимо, поскольку источником в данном случае оказывается известное стихотворение Беранже «Безумцы». Герои Беранже – Безумец-жених, грядущий к Идее, Сен-Симон, Фурье, Анфантен и... Иисус Назорей Царь Иудейский, о котором сказано: «По безумным блуждая дорогам, / Нам безумец открыл Новый Свет; / Нам безумец дал Новый завет – / Ибо этот безумец был богом» [3, с. 236].

Подобный поворот сюжета достаточно любопытен, но, не давая читателю передохнуть, Случевский оглушает его новым откровением: «Я услышал тогда как будто прорицанье: “Блудницу жизни в бездну унесло, / Погибло с нею всё! Одно, одно страданье / Гореть над бездною осталось, не прошло. / В нем сущность мира! альфа и омега! / Страданья лишь одну пощадку обрели / И пламенно блестят, как светочи ночлега, / Над разрушением замученной земли...”» [8, с. 99]. И не стоит думать, что речь идет о страдающем боге Нового Завета. Нет, здесь фигурирует именно страдание как таковое, страдание как единственная константа былого и наступившего бытия. Страдание как первооснова существования и конечная цель творения.

Дальнейший поворот сюжета способен поставить в тупик даже хорошо подготовленного читателя. Неведомый никому, кроме автора, Великий Голос гневно обличает человечество, главная вина которого состоит в том, что «пытливый ум людей, как прежде, в жизни ставит / Вопросы страшные о бытии

времен...» [8, с. 98–99]. Как выясняется, обладание пытливым (суть – сомневающимся) умом, пусть и потенциально, но уравнивает смертные создания божии с Творцом: «пытливый ум людей, как прежде, в жизни ставит / Вопросы страшные о бытии времен... / Да кто же, наконец, из двух вас власть? Кто правит? / Они ли, смертные, или бессмертный Он?!» [8, с. 99].

Безусловно, идея Случевского возникла не на пустом месте. Еще Иоанн Скот Эриугена утверждал, что разум делает человека подобным Создателю и отвергал любые авторитеты, кроме разума. Но даже великому деконструктору христианского вероучения, ведущему бытие к состоянию природы несотворенной и не творящей, не пришел в голову сценарий, подобный сценарию Случевского: «И Он других создаст, а прежних уничтожит / Так, чтоб и в имени проказе не пройти / В то, что появится, в то, что Он приумножит / И в жизни поведет на новые пути...» [8, с. 99].

Поэты Серебряного века тоже оказались большими гуманистами, чем Случевский. Сологуб, мрачно пророчивший свой Армагеддон, оставлял человечеству право на жизнь вечную и не менее вечную муку: «И ты, когда придешь в Змеиный, / Среди миров раскрытый рай, / Там поздней злобою сгорай, – / Ты встретишь там весь сонм звериный. / И забавляться злой игрой / Там будет вдохновитель твой, / Он, вечно сущий, Он единый» [10, с. 26].

Гумилев, воспевая Утреннюю Звезду-Люцифера, пророчил устами грозного серафима: «Нежный брат мой, вновь крылатый брат, / Бывший то властителем, то нищим, / За стенами рая новый сад, / Лучший сад с тобою мы отыщем. // Там, где плещет сладкая вода, / Вновь соединим мы наши руки, / Утренняя, милая звезда, / Мы не вспомним о былой разлуке» [4, с. 372]. Чтобы ничто не помешало встрече и счастью нового мира, поэт даже позволил человеку убить бога: «Но забыли мы, что осиянно / Только слово среди земных тревог, / И в Евангелии от Иоанна / Сказано, что слово это — бог. // Мы ему поставили пределом / Скучные пределы естества, / И, как пчелы в улье опустелом, / Дурно пахнут мертвые слова» [4, с. 312]. И хотя, воцаряясь над миром, Утренняя Звезда все-таки уничтожит взрослую часть человечества, но дети, юношество и старики останутся в неприкосновенности.

Блок, который поначалу восклицал в невинно людоедском экстазе: «Увижу я, как будет погибать / Вселенная, моя отчизна. / Я буду одиноко ликовать / Над бытия ужасной тризной» [2, I, с. 34], – в дальнейшем ограничился *всего лишь* мировым пожаром, поставленным на службу апостолам революции: «Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем, / Мировой пожар



в крови – / Господи, благослови!» [2, V, с. 12]. Как видим, и здесь гибель затронет *избранных*: тех, кто не соответствует требованиям классового подхода и классовой морали.

И только у Случевского исключений нет! Приговор, вынесенный Великим Голосом, касается всех, обжалованию не подлежит и приводится в исполнение сразу после оглашения: «И стали погасать, дымясь, паникадила! / Одни вослед другим погасли имена! / Тьма непроглядная отвсюду обступила, / Непоборимая, безмолвная, одна... / И тот же Глас звучал, как бы из некой славы, / Суровый, медленный и страшный, как самум: / “Иначе на людей не отыскать управы, / Иначе не смирить их поврежденный ум...”» [8, с. 100].

...Через несколько десятилетий в романе Евгения Замятина «Мы», словно во исполнение пророчества Случевского, Благодетель, живой бог Единого Государства начнет Великую Операцию по исцелению разумной части человечества. И вскоре полностью исцеленный от фантазии (она же душа) Д-503 завершит свой дневник следующими словами: «Я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь – я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка – есть нормальное состояние нормального человека)»; «я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа)»; «в западных кварталах – все еще хаос, рев, трупы, звери и – к сожалению – значительное количество номеров, изменивших разуму.

Но на поперечном, 40-м проспекте удалось сконструировать временную Стену из высоковольтных волн. И я надеюсь – победим. Больше: я уверен – мы победим. Потому что разум должен победить» [5, с. 367–368]. Разум *должен* победить, ведь иначе ему подчинить своему «благодетельному игу» «неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы» [5, с. 211].

Удастся ли исцеленному человечеству под рев моторов «Интеграла» смирить поврежденные умы других обитателей вселенной? Возможно, да. А возможно, и нет... Замятин не дает ответа. И лишь в конце XX столетия Леонид Леонов, соединив в пространстве романа-наваждения «Пирамида» потомков Вечной Женственности, прозрения Случевского, Откровение Иоанна Богослова и собственные теории, показал, куда могут завести человечество бездушный разум в союзе с хищной мыслью: «Извечная вера тружеников в свой

праздник, когда для всех и всегда будет хватать всего на свете, внезапно усложнится вовсе роковой нехваткой жилплощади под солнцем. Меж тем, две безгранично могущественные стихии за порогом истории ждут своего срока ворваться в мир. Одну из них чересчур пытливый разум открыл в нулевом до-толе пространстве атома, другая раскрылась сама в чрезмерном влечении людей к воспроизводству себе подобных.

Совмещение их повлекло бы последствия, превосходящие воображение Патмосского пророка. Ибо подобная удавке нестерпимая людская теснота в очередной фазе бешенства вынудила бы осатаневшее человечество применить самое надежное из убойных средств и тем самым завершить победу над самим собою» [6, с. 307]... Впрочем, по Леонову, возможны и иные варианты развития событий: от измельчания рода людского к состоянию разумной плесени до его гибели в термоядерном пламени сверхновых звезд, которые вспыхнут по велению божества, дабы *навсегда* избавить вселенную от присутствия осатаневшего человечества. Но это, говоря словами Редьярда Киплинга, уже совсем другая история...

#### Список литературы

1. Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1969. 709 с. (Библиотека поэта: Большая серия).
2. Блок А. А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Наука, 1997–2014.
3. Беранже П.-Ж. Песни // Пьер-Жан Беранже. Стихотворения; Огюст Барбье. Песни; Пьер Дюпон. М.: Худож. лит., 1976. 543 с.
4. Гумилёв Н. С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. 630 с. (Библиотека поэта: Большая серия).
5. Замятин Е. И. Мы // Замятин Е. И. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Рус. кн., 2003. Т. 2. С. 211–368.
6. Леонов Л. М. Пирамида. Роман-наваждение в трех частях: в 2 т. М.: Голос, 1994.
7. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 5–237.
8. Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. СПб.: Академический проект, 2004. 816 с. (Новая Библиотека поэта).
9. Сологуб Ф. К. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1979. 679 с. (Библиотека поэта: Большая серия).
10. Сологуб Ф. К. Фимиамы. Пб., 1921. 105 с.

#### References

1. Bal'mont K. D. *Stihotvoreniya* [Poems] Leningrad: Sov. pisatel' Publ., 1969. 709 p. (Biblioteka poeta: Bol'shaya ser.) (In Russian).

2. Blok A. A. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem: v 20 t.* [Complete works and letters: In 20 volumes] Moscow: Nauka Publ., 1997–2014 (In Russian).
3. Beranzhe P.-Zh. *Pesni* [Songs] *P'er-Zhan Beranzhe. Stihotvoreniya; Ogyust Barb'e. Pesni; P'er Dyupon* [Pierre-Jean Beranger. Poems; Auguste Barbier. Songs; Pierre Dupont] Moscow: Hudozh. lit. Publ., 1976. 543 p. (In Russian).
4. Gumilyov N. S. *Stihotvoreniya i poemy* [Poems] Leningrad: Sov. pisatel' Publ., 1988. 630 p. (Biblioteka poeta: Bol'shaya ser.) (In Russian).
5. Zamyatin E. I. *My* [We] Zamyatin E. I. *Sobranie sochinenij: v 5 t.* [Collected works: In 5 volumes] Moscow: Rus. kn., 2003. T. 2. Pp. 211–368 (In Russian).
6. Leonov L. M. *Piramida. Roman-navazhdenie v trekh chastyah: v 2 t.* [Pyramid. An obsession novel in three parts: In 2 volumes] Moscow: Golos, 1994 (In Russian).
7. Nicshe F. *Tak govoril Zaratustra* [Thus Spoke Zarathustra] Nicshe F. *Sochineniya: v 2 t.* [Works: In 2 volumes] Moscow: Mysl' Publ., 1990. T. 2. Pp. 5–237 (In Russian).
8. Sluhevskij K. K. *Stihotvoreniya i poemy* [Poems] St. Petersburg: Akademicheskij proekt, 2004. 816 p. (Novaya Biblioteka poeta) (In Russian).
9. Sologub F. K. *Stihotvoreniya* [Poems] Leningrad: Sov. pisatel', 1979. 679 p. (Biblioteka poeta: Bol'shaya ser.) (In Russian).
10. Sologub F. K. *Fimiamy* [Incense] Peterburg, 1921. 105 p. (In Russian).